



А раньше-то в голове шептала тайга.
В земле чернильной спала гадюка,
в черничных зарослях кабарга.
Реки ледяной дуга, янтарные берега.
От уха до уха три дня шел лось, чтоб сбросить рога.

Теперь в голове ни сосен, ни мха, ни ив,
отсыревший жилой массив.
Свет мигает, сутулый ныряет в арку,
папироску не загасив.
Дым котельной в портвейном свете,
луны беспокойный взгляд.
Кочегары Саша и Витя
подбрасывают угля,
берегут, как письмо из дома,
зябкий каменный неуют.
Топят плохо, больше поют.

А раньше-то за грудиной пел океан,
в подводном кратере шарил кракен,
веселый остров был вечно пьян.
Над рифом царили киты и скаты,
мы грелись в кафе на причале.
Так было раньше. Но и теперь
все так, как было вначале:
те же мы набегались и сидят,
увлеченно смотрят закат,
мы помешивают в стаканах
тишину и арбузный свет.
Нам осталась пара минут.
Россыпь черных зерен на горизонте —
чей-то флот.

А раньше-то в животе... да брось,
ничего там не было, в животе.
Теперь там красные комья глины,
дробь засеял — и богатей:

дождь прольется, взойдут снаряды
всех диаметров и мастей.
В животе котел,
а в котле козел,
снова сросшийся из костей.
В животе неистово пляшет площадь,
вся, от умерших до детей.
В животе мы живем на границе рощи,
и у нас полон дом гостей.
В животе я ползу к тебе попрощаться
с ножом в животе.
В животе под корнями следы волков,
клубни боли, хвосты затей
и чего-то еще —
не высмотришь в темноте.

Темнота плацкарта рассечена,
разобрана на бруски.
Мчим по левой руке, завтра въедем на
запястье правой руки.
А сейчас остановка сердце, и сосны
здесь пугающе высоки.



Каравай-каравай,
мы сидим по краям каравая
и от края до края вскрываем,
закатом кровавя.
И тропинка, как рана
кривая, от края до края,
от тревоги-ноябрьские-кроны
до паники-сорваны-краны.

Каравай-каравай,
с полотенца под свод домовины.
Режем на половины,
и каждую на половины.
Всяк,
отведавший хлеба Иванова,
станет Иваном.
Мы берем по куску,
крепко солим,
виной запиваем.

Каравай-каравай,
черный боб в чьем-то ломтике
скажет о чем нам?
Кто проглотит его
и, петляя, уйдет обреченным?
Ты проглотишь его,
и, петляя, уйдешь обреченным,

под разделку расчерченным
вниз от плеча
до печенок.

Вот такой ширины,
вот такой глубины, да на сотню.
Серый ломтик
февральской брусчатки,
посыпанный солью.
Память выдохнут свистом,
вступают бойцы и паяцы.
Черный боб тихо дремлет внутри,
будет время — пробьется.



Третий раз тебе повторяю,
верни мне мать.
я вспорю твоё брюхо, напихаю камней и веток.

Рыба бьется, как рыба об лед,
объясняет и так и этак,
но сдаётся и понимает, что проще дать.
Не отпустишь на волю старуху добром,
ну что ж —
брось под печь мое слово, спи себе на полатях.
Слышь, она придет не одна, ты готов принять их?
Всех ли знаешь ты, недоумок, кого зовешь?

Он врывается в избу,
рукавом утирая лоб,
вносит запах браги и пота — дух человеческий.
И швыряет в подпечье косточки шучьей речи,
шучью песню мычит в теплый зев,
свиристит в хайло.

К ночи печка проснется, застонет и задрожит,
отзываясь на странный стрекот в далекой чаше:
и родит их — в золе и глине, слепых, молчащих —
одного за одним, дымящихся, как коржи.

Завизжат невестки, братья выкатятся, бранясь.

Первой встанет она,
или некто в ее обличье,
вскинув тощие руки, вертя головой по-птичьи,
выдыхая с кошмарным хрипом мальков и грязь.
За спиной отец — опаленная борода.
Следом старшие сестры — беззубы, простоволосы.
И десятки других: все, как он, черны и курносы,
держат копыя, кирки и клещи, серпы и косы.
Ходят, шарят ладонями, трогают все без спроса,

кружат, мнутся, зудят, как осы,
скрежещут «дай».

Он влезает на печку, спасаясь, как от реки,
от кишаших внизу голов, и локтей, и пальцев.
Печь срывают с помоста под хохот «пора купаться»
и выплескивают во двор, как мосол с водицей,
выбив дому родному и ребра, и позвонки.

Поднимают на плечи, покачивая, несут,
подминая случайно встреченных на дороге.
Все: поеденные чумой,
порубленные в овраге,
изведенные голодом,
смолотые в остроге,
отравившиеся полынью,
угодившие в полынью.
Дура, просто верни мне мать.

Все шагают к царю —
немного потолковать.



Пришедший потеет,
клетчатый мнет засаленный,
дышит тяжело, не сбросил еще маеты вокзальной.
А у хозяина белая печь с изразцами,
стол мореного дуба, ниша с ларцами.

Хозяин выходит выпавшийся, степенный.
Пришедший ныряет к нему дельфином,
брызгая пеной.
Кровати панцирные голодают, начальник,
беснуются, бьют копытом, визжат ночами,
нянечке ногу отгрызли третьего дня,
едва откачали.
Чавкают сливами стылые душевые,
надобны свежие, теплые и живые.
Кто говорил, жратвы хватит с горочкой,
уж не вы ли?
Пришлите молочных новеньких
тыщу другую,
а мы вам старших сторгуем.
Ими стальные хрустят,
только забрасывать успевай.

Хозяин — колонна черная,
на колонне
хмурится голова.
Какой я тебе начальник, убогий,
уймись уже, проходи, отдохни с дороги.

Чаю выпей, стальные сыты
и не твоя забота,
беды ваши уладим, вышлем пока кого-то,
вы пока продержитесь месяц-другой.
Дальше закон продавим — хлынут рекой.
Там уж не то что от голода вас избавим,
сможешь тропинки на даче мостить
зубами.

Приезжий пятится, крестится,
не может остановиться,
отвергает и чай, и коньяк,
и суп из домашней птицы.
Думает только: вроде старинный дом,
а не скрипят половицы.
Идет, не оглядываясь, к подъехавшему хюндаю,
шеей чувствует — наблюдают.

Хозяин гудит в телефон:
день добрый, у нас все в силе?
Поглаживая занавесочку
в русском стиле.



Вот опять вокзал,
то есть вопли, гудки и топот.
Кто-то волоком тащит тачку —
не достает колеса.
Закрываем глаза.
Проводим мысленный опыт.
Представляем грядущие ужасы и чудеса.

Например, мне полтинник:
Шопен и осетр на ужин;
охранник, на треть состоящий
из шеи и рук.
Или я — бомж.
Тогда охранник не нужен:
тухлая сельдь в кармане — эффект не хуже.
Все уступают дорогу.
Море пространства вокруг.

Пусть я, к примеру, курю «Беломор»
на крыше
или ем паровые котлеты
и посещаю бассейн —

разницы нет ни малейшей,
то есть совсем.
Меняется антураж.
Рука — рисует и пишет.

И что-то внутри головы просеивает, просеивает пространство, словно китовый ус, фильтрует тонны воды, оставляет цвета и звуки.

Я допускаю, что однажды проснусь
и будто впервые увижу
свои узловатые руки
(тыльная сторона пятнистая, как тритон).
Обнаружу себя, обживающую притон,
склочную,
навязчивую притом,
с неприятным щербатым ртом.
Раздавшуюся второе,
или истаявшую на треть...

Никогда ничего не боялась раньше,
не буду и впредь.
За пять минут до второго инсульта
буду смотреть
в собственные глаза
на оплывшем чужом лице
в грязном зеркале вокзального туалета.

Я вряд ли вспомню,
была ли, собственно, цель.
Скорее меня позабавит, что я в конце.
Отсюда, с конца,
видны нюансы сюжета.

День города

Дитя выпрыгивает на сцену:
косички, коленки,
румяна, сарафан-колокольчик.
Под черным помостом
электрики, клерки, калеки.
Толпа свистит и клокочет.
Она выставляет пяточку, как учили,
старательно тянет носочек.

Поет:

«Как весной по бурому снегу
мы ходили в лес, во лесочек,
отпусти, медведица, сына
погостить у нас на деревне!»

Под землей громово вздыхает
и скулит во сне
кто-то древний.
Помнит: колья, силок, страшно воет мать,
и рывок в бурелом не глядя.

«Как гостил медвежий сыночек
на дворе у нашего дяди.
Кушай, мишка, теплые сливки.
Кушай, мишка, пряник печатный».

Помнит дымную печь, белоснежную грудь,
человечьи песни ночами.
Открывает глаза, тянет носом воздух,
морщится от света и вони.

«Приходили к мишке старухи,
подарили зипун червонный.
Приходили девушки к мишке,
подарили венок алый».

Слышит песню далекую, детский голос,
рыхлый гул нетрезвого зала.
Распрямляет лапы, спиной взрывая
старый склад, поросший бурьяном.

«Поднесли веселого меду,
выпил мишка, сделался пьяным
и пошел плясать по деревне,
петь свои дубовые песни».

В три прыжка покрывает путь
от глухих окраин до Пресни.
Помнит крики мужчин, блеск кривых ножей,
хищные, багровые лица.

«Целый день плясал, утомился,
охнул, на бревно повалился.
Принесу я мишке водицы,
пей, мой братик, пей, медвежонок».

Помнит на холме за деревней
пятачок земли обожженный,
как кусает в ужасе воздух,
путы рвет
и давится воем.
К жизни, уходящей из горла,
припадает ртом лучший воин.

Помнит, круглую чашу несут,
девочка кланяется.
Стемнело.

Девочка кланяется
в шелесте рук, как в лесу,
гольфам своим
белым.
Кто-то шепотом: поют же попсу,
там другой финал,
мне бабушка пела.

Колыбельная

Как под лысой горой собирают медведи хмель,
набивают подушки, вышитые крестом,
как в паучьих селениях шали плетут к зиме,
как луна наливается мутным молочным льдом,
как мертвеет трава, зябнут корни, чернеет пруд,
застывает стеклянной жилой подземный ключ,
как зайчата глодают ветки, дерут кору,
как горька брусника, мох мягок, и терн колюч.
По душистым еловым иглам, листве гнилой,
осторожно ступай, малыш, не порань ступней,
отыщи ветлу, полезай в дупло, там тепло.
Спи, малыш, до весны,
я найду тебя по весне.

Слушай, слушай, малыш, как вороны говорят,
как куницы и лисы учат щенков петлять.
В черных бочках моченые яблоки сентября,
в остывающей печке ящерка на углях.
Ищет, ищет Яга в лесу маслят да малят.
Гонит, гонит чертей со двора петушинный крик.
Под пятнистым коровьим боком телята спят.
Съест хозяин корову — косточки прибереи,
заверни в платок, завяжи простой узелок,
закопай в перекрестье дорог, поливай да пой:
утром вырастет вяз, полезай в дупло, там тепло.
Спи, малыш, до весны,
я вернусь за тобой весной.

Как бродячие псы жмутся к люкам у теплотрасс,
ветер стонет, изрезавши брюхо о провода.
Как закат исходит на лед, меняет окрас.
Холод, холод идет, тепла ему не отдай.
Избегай разговоров с людьми, не бери даров,
сны храни в кульке, к груди прижимай кулек.
Ты для них артефакт, сердце лета, свежая кровь,
дефицитный продукт, редкий радужный мотылек:
изловить, засушить, к стенке пробковой приколоть.
Не ищи ночлега — в Коломенском старый дуб,
шесть веков ему. Полезай в дупло, там тепло.
Спи, малыш, до весны.
А весной я тебя найду.

